Яблони цветут

Автор:
Зинаида Гиппиус

Яблони цветут

Зинаида Николаевна Гиппиус

«Зачем она так сделала, что я не умею жить без нее? Это она сделала, я не виноват…

Я написал это – и мне стало странно. Говорю точно о возлюбленной. Но возлюбленной у меня нет. Это моя мать сделала так, что я умираю без нее. Если человека держать в тепле всю жизнь, а потом неодетого выгнать на двадцатиградусный мороз, он непременно умрет. И я умру. Умру из-за нее…»

Зинаида Гиппиус

Яблони цветут

I

Зачем она так сделала, что я не умею жить без нее? Это она сделала, я не виноват…

Я написал это – и мне стало странно. Говорю точно о возлюбленной. Но возлюбленной у меня нет. Это моя мать сделала так, что я умираю без нее. Если человека держать в тепле всю жизнь, а потом неодетого выгнать на двадцатиградусный мороз, он непременно умрет. И я умру. Умру из-за нее.

Давно уж мне хочется рассказать кому-нибудь все, о чем я думаю, или хоть написать. Рассказать некому, никто не хочет, чтобы я рассказывал, так уж лучше я напишу. Все-таки легче.

Мне кажется, что эти последние дни – важные и значительные дни для меня. Я до чего-то дошел, кончил половину моей жизни, а дальше дорога прямая, унылая, быстрая и такая однообразная, что уже нельзя будет заметить, идешь ли вперед или назад, вверх или вниз. И не знаю, нужно ли покориться, как всегда, и идти по ней.

Мне теперь двадцать восемь лет, но никто этому не верит, таким старым я кажусь. Я сам знаю, что я старик. У меня было прежде красивое и нежное лицо, как у мамы, мы с ней часто вместе смотрелись в зеркало, и нам казалось, что мы удивительно похожи друг на друга.

Теперь она не узнала бы меня. Я согнулся, глаза потускли, борода выросла большая, лицо стало желтое, темное. Я думаю, что я скоро умру. У меня нет, кажется, никакой болезни, но я должен умереть, потому что живет тот, кто хочет, кто имеет волю жить, а у меня нет воли. В последние дни, когда я это сознал и увидел, что мне больше и ждать нечего – я даже думал о самоубийстве. Но я не могу. Я боюсь. Я знаю, что у меня пошлое и трусливое сердце. Я боюсь.

Все это она сделала. Правда, я думаю – что от нее же у меня то чувство, которое совсем не пошло, и одно давало мне счастие жизни – сентиментальность. Я не стыжусь этого слова, как все стыдятся. Да, все стыдятся, потому что у всех оно есть…

Я музыкант и если не хороший, то порядочный, как говорят. Думаю, хорошим я и не могу быть, потому что, когда играю длинные, трудные рапсодии и фуги, даже сонаты, я совершенно холоден, и мысли у меня самые обыденные, скучные. Чувство прекрасного редко бывало у меня; это – совсем не сентиментальное чувство, оно захватывает и зовет вперед, а мне это трудно; я люблю тихое умиление, воспоминания, когда так сладко болит сердце, и в душе глубокая тишина.

Бывало, играя блестящую прелюдию в концерте (теперь уж давно я не выходил на эстраду), я взглядываю на какого-нибудь пожилого господина в первом ряду и думаю: «Вот ты смотришь на меня, слушаешь внимательно и знаешь, что я

играю, потом будешь делать толковые замечания о моей „технике“ и „экспрессии…“ А если бы я бросил теперь эту прелюдию и сыграл маленькую, простую малороссийскую песенку, которая напомнила бы тебе далекие годы, темный, теплый сад и, может быть, чьи-нибудь милые, забытые глаза – ты встал бы и ушел, чтобы скрыть невольные слезы, радостную грусть и счастье, которого не дает тебе блестящая прелюдия. И непременно ты хотел бы скрыть это счастие, потому что тебе стыдно и кажется, что ты один так чувствуешь и другие не поймут, а между тем все так же чувствуют – и каждый стыдится, думая, что он один. У каждого есть светлое облако в прошлом.

И у меня оно есть, как у всех».

II

Скучно рассказывать с самого начала, с тех пор, как я был ребенком. Да и в двадцать лет я жил так же, как в десять. Только в двадцать я был счастливее, потому что перерос маму и мог гулять с ней под руку. Отношения же наши не изменялись. Бывало, мальчиком я часто делал ей сцены, когда она уезжала в театр без меня, говорил, что она не имеет права веселиться, когда я должен учить уроки. Она серьезно умоляла простить ее, даже делалась печальна, если я дулся. Нам нельзя было ссориться. У нее не было никого, кроме меня. И у меня была она одна.

С отцом я даже не разговаривал никогда. Пожилой господин, вечно занятый какими-то постройками, живший в другой половине дома, он совсем не интересовал меня. А мама была такая молодая, тоненькая, как девочка, с большими черными глазами, свежая, блестящая; платье ее шумело при быстрых движениях, и веяло от нее какими-то странными духами, – я так и не узнал, как они называются. Запах их напоминал самую раннюю весну.

Конечно, мы жили в Петербурге. Я говорил, что у всех есть что-то необычное, светлое в прошлом. Но я не знаю и сомневаюсь, что может быть у людей, которые родились в Петербурге и не видали другого солнца. Хорошо, если я ошибаюсь и сужу по себе. Но я никогда не примирюсь с этим низким небом и темным воздухом, с этой квартирой, где я один. Впрочем, об этом впереди. И все равно, я один в целом свете, как же мне не быть одному в этой квартире?

Мы жили в большом городе на юге, в своем доме. Дом был новый, выстроенный отцом, неудобный и холодный. Во дворе был небольшой, но чистый сад, к которому со всех сторон примыкали чужие сады, а потому он казался мне бесконечным. Отец все хотел его вырубить и построить два флигеля и сарай, но так и не собрался. Не знаю, впрочем, может быть, теперь уж и нет нашего сада. Не знаю, да и знать не хочу.

Я никогда не был в гимназии. В самом деле, с кем бы мама оставалась? У нее было много знакомых, но никто никогда за ней не ухаживал серьезно, хотя и знали ее отношения к отцу. Я думаю, она сама не хотела.

У меня были лучшие гимназические учителя, и я учился недурно. Мама, конечно, училась со мною, но ей часто надоедало, и она говорила:

– Володя, бросим книги, пойдем гулять, а?

И мы шли, – она нарядная, веселая, а я счастливый, что у меня такая хорошенькая мама, и я так на нее похож.

Она совсем не изменялась, не старела, и скоро нас стали принимать за брата и сестру, особенно когда у меня выросли усы и маленькая борода. Мне казалось, что и я не изменился внутренне. Только к двадцати годам я серьезно стал заниматься музыкой и мечтал о консерватории. Гимназический экзамен я сдал хорошо, и надо было на что-нибудь решаться.

– Ты поедешь в консерваторию, в Москву, непременно, – говорила мама. – Надо скорее, тебе уже двадцать лет. Ты будешь знаменитым, вот увидишь.

– А когда же мы поедем?

– Осенью, я думаю. Хорошо?

Не было и речи о том, чтобы мне ехать без мамы. С кем бы я стал говорить? Кто бы ласкал меня и ходил со мною гулять? А кто бы ухаживал за мною, когда я заболею? Да разве возможно ей оставаться без меня, когда мы ни на один день не расставались, все делали и обсуждали сообща? Я и заниматься не стал бы без нее.

Так же, как бывало ребенком, – я садился по вечерам у огня в ее комнате, на полу, около ее ног, и рассказывал ей, как та и та барышня в меня влюблены, как я за ними ухаживаю, и какая мне больше нравится. Мне в это время казалось, что все барышни должны быть в меня влюблены, потому что я такой красивый и так хорошо играю на фортепиано.

– Знаешь, Володя, – сказала мне раз мама, – ведь ты совсем не похож на мужчину, ты совершенно женщина, оттого, должно быть, мы с тобой так и сошлись… Или это я сама так сделала, – прибавила она подумав. – Ты, например, в мужском обществе и не бываешь никогда; а среди женщин я тебя видела – там ты тоже как-то не ухаживаешь, а кокетничаешь. Не знаю… но мне кажется, будь ты мне чужой – ты мне не понравился бы.

Я страшно обиделся и надулся. Как! Сама же она говорила, что я похож на нее, а теперь я ей не нравлюсь! Если это и не хорошо, что я похож на женщину, то ведь она же сама прежде этого не боялась?

Да и что тут нехорошего? Пусть я похож на женщину! Я люблю прежде всего все красивое – но без суровости, без силы, а нежное и простое. Я не виноват, что я такой…

Мама долго просила у меня прощения, и мы помирились. Но я не забыл ее слов и часто потом говорил ей:

– Вот Сыромятников, или Маремьянов, правда, какие мужественные? Правда, они должны нравиться женщинам?

Мама улыбалась и зажимала мне рот своей большой, но красивой рукой с бесчисленными звенящими браслетами.

Я знал, что делался фатом, потому что я все-таки очень нравился тамошним барышням, знал – жизнь проходила пусто, и сердце делалось пошлым от этой вечной рисовки и бесцельного желания нравиться. Сам я ни разу не влюблялся. Нравились многие, но не сильно. В сущности, я был очень чистым в то время, как редкие, но мысленно я оказывался не лучше других. Говорят, что всегда чистые люди – не чисты в мыслях; но мне кажется, что это неправда. И у меня это было временно и, я думаю, от робости, от пошлой и праздной жизни, и оттого, что

меня портили и баловали.

III

Удивительно, как мало меня интересовали книги. Я их читал, пока не сдал экзамена. А с тех пор я занимался только музыкой. Она одна меня волновала и заставляла вспоминать то, чего не было. Для музыки я мог забыть многое.

Наконец, мы поехали в Москву. И я был рад. Я инстинктивно чувствовал, что надо все переменить.

С нами поехала наша старая экономка, без нее мы совсем пропали бы. Я в Москве никогда не был, а мама хотя и жила там прежде, однако ничего не знала и не умела. Может быть, и сумела бы, но ей было скучно заботиться и суетиться, и я это отлично понимал.

Мы наняли хорошенькую квартирку на Малой Никитской и зажили припеваючи, по-товарищески. Ездили в театр, кататься. Скоро явились знакомые, нашлись родственники. Но я стал заниматься ревностно и даже редко выходил, когда у мамы были гости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/gippius_zinaida/yabloni-cvetut

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити